

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИГНАТЬЕВ

ВОЕННЫЙ АГЕНТ

ПЕРВАЯ
МИРОВАЯ
В ПАРИЖЕ

ПРОФЕССИЯ
ДИПЛОМАТ



Профессия: дипломат

Алексей Игнатъев

**Военный агент. Первая
мировая в Париже**

«Алисторус»

1950

УДК 327
ББК 66.4

Игнатъев А. А.

Военный агент. Первая мировая в Париже / А. А. Игнатъев —
«Алисторус», 1950 — (Профессия: дипломат)

ISBN 978-5-00180-585-4

Граф А. А. Игнатъев – генерал-майор Российской императорской армии и генерал-лейтенант Красной Армии, прослужил на военной службе 50 лет. С 1908 года работал по линии разведки военным агентом (атташе) в Дании, Швеции и Норвегии, где наладил разведывательную работу, прежде всего против Германии и Австро-Венгрии. В 1912–1917 годах – военный агент во Франции; одновременно представитель русской армии при французской главной квартире. Представлял Россию на первой межсоюзнической конференции держав Антанты в Шантильи в июле 1915 года, участвовал как член российской делегации и в ряде последующих конференций 1915–1916 годов. Обо всем этом он подробно и честно в своей книге.

УДК 327

ББК 66.4

ISBN 978-5-00180-585-4

© Игнатъев А. А., 1950

© Алисторус, 1950

Содержание

Часть первая	6
Глава 1	6
Глава 2	11
Глава 3	21
Глава 4	30
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Граф Алексей Игнатьев

Военный агент. Первая мировая в Париже



© Игнатьев А. А., 2022

© ООО «Издательство Родина», 2022

Часть первая

Глава 1 Заграница

Париж! С этим городом связаны многие годы моей жизни!

В первый раз я попал в столицу Франции, когда мне было всего полтора года, но узнал я об этом только через двадцать пять лет. Прогуливаясь как-то по Тюильрийскому саду и остановившись у фонтана, расположенного напротив Луврского дворца, я задержался, любуясь детьми, кормившими голубей, слетавшихся сюда сотнями. В эту минуту мне показалось, что и фонтан, и низенькие решетки сада, и скамейки я где-то и когда-то уже видел. Об этом романтическом пейзаже я упомянул случайно в письме к родным, а они мне объяснили, что, будучи ребенком, я не раз играл у этого самого фонтана. Отец был тогда командирован на маневры французской кавалерии.

В следующий раз я попал в этот город в 1902 году, по окончании академии, когда отец, как бы в награду, подарил мне несколько сот рублей и сам посоветовал использовать месячный отпуск для ознакомления с Европой.

Еще в ранней молодости, когда я вращался в скучном кругу высшего петербургского общества, меня тянуло за границу.

Мне казалось, что там жизнь интереснее, чем в России. Хотелось взглянуть на все то, о чем я столько читал в книгах. В Петербурге иностранцев приходилось встречать очень редко: ни один из них, например, не перешагнул порога родительского дома. Заграница представлялась загадкой.

Сборы были недолгие: заграничный паспорт получить было нетрудно, а пресловутые визы явились одним из «достижений» первой империалистической войны. В те счастливые для Европы времена паспорта существовали только в России.

Верным спутником туриста по всему земному шару был в ту пору небольшой красный томик путеводителя «Бэдекер», издававшегося на всех европейских языках, кроме русского, хотя в нем можно было найти подробнейшее описание не только петербургского Эрмитажа, но даже и Московского Кремля. В умах составителей этого путеводителя Россия, вероятно, представлялась какой-то любопытной колонией, а русские, ехавшие за границу, для пользования этим справочником обязаны были знать один из европейских языков.

Для русского военного главным затруднением при отъезде за границу являлось переодевание в штатскую одежду и особенно завязывание галстука. Снимать военную форму в ту пору в России было строго запрещено даже в отпуску. Никогда не забуду, как, приехав в Вену я истратил пять часов на надевание впервые фрака, измучился, вспотел, порвал несколько белых галстуков и все же опоздал в театр.

Кроме советов о штатской одежде петербургские друзья и особенно родственники буквально запугали меня рассказами о всех могущих со мной приключиться за границей несчастьях; я уже наперед чувствовал что подобных наставлений ни одному европейцу получать не приходилось.

– Не выходи из вагона! Там звонков не дают; и поезд уйдет без тебя...

– Остерегайся людей, предлагающих тебе папиросу – они там с опиумом, тебя могут усыпить и ограбить.

– Опасайся незнакомых мужчин – они там все шпионы, а уж от женщин беги на сто верст: оберут, завлекут и погубят мальчика...

В действительности все оказалось не таким страшным и сложным. На Невском, в агентстве Кука, можно было выбрать любой маршрут, причем служащие сами производили за тебя расчет билетов и прожитка, в зависимости от твоего кошелька: в России, например, можно было ехать достаточно удобно и во 2-м классе, в Германии и особенно в Швейцарии – для экономии – брать даже 3-й класс, зато в Италии из-за грязи в вагонах было предпочтительно ехать в 1-м классе и т. д.

В ту пору я был холостым и очень молодым, а потому маршрут избрал такой. Варшава – хоть и русский город, но все же полузаграничный, Будапешт – в этот город никто из русских не заезжал, но я слышал о его живописном расположении, венгерской музыке и красавицах венгерках. Потом Вена, где уже кроме самого города хотелось осмотреть все поля сражений 1809 года – Асперн, Эсслинген, Ваграм – путь Наполеона вдоль Дуная, все то, на чем зиждилось наше академическое военное образование. В Мюнхен меня заставила заехать моя мать, чтобы ознакомиться с картинными галереями пинаотеки и ипотеки. Потом военная любознательность потянула в Цюрих. Хотелось увидеть своими глазами следы, оставленные суворовскими чудо-богатырями, а для этого спуститься через Сен-Готард в Милан. Город, построенный на воде, – Венецию нельзя было тоже объехать, как было бы преступным не ознакомиться с лучшими образцами живописи и ваяния, что создала древняя Флоренция. И, наконец, яркая солнечная Ривьера и притягивающий, как магнит, модный в ту пору Монте-Карло. Но конечной и заветной целью моего путешествия я наметил город-светоч – Париж...

И когда я вышел из поезда на парижском вокзале, то самый воздух шумевшего вокруг города мне уже показался родным. Стояла осень, моросил мелкий дождик. Я сидел в маленькой карете, обитой внутри малиновым плюшем, и она показалась мне такой уютной после наших узких открытых извозчичьих пролеток. На высоких козлах восседал извозчик в белом кожаном цилиндре. Из-за промокшей от дождя пелерины даже коня не было видно. Каретка не спеша громыхла по брусчатой мостовой улицы Лафайета. Ее обгоняли шикарные пары собственных экипажей на резинах, по тротуарам спешила толпа, в которой не было заметно ни одного военного, ни одного чиновника, и я сразу почувствовал, что в этой возможности жить среди людей, не будучи замеченным, и заключалась главная прелесть Парижа.

«Да, этот город для меня, – подумал я. – Как все здесь отлично от Петербурга. Здесь можно жить, никому не мешая, и тебе никто не помешает жить как вздумается».

Из-за светло-серых решетчатых ставней, постепенно закрывавшихся в этот осенний холодный вечер, уже светились лампы, и казалось, что каждый дом скрывал в себе какие-то таинственные романы. Мне было тогда всего двадцать пять лет.

Путешествовал я на самых скромных началах, но денег, взятых из дому, все же не хватило, и пришлось провести первые дни в Париже с одним золотым двадцатифранковиком. Я остался благодарен этой неприятности на всю жизнь: никогда не удосужился бы я иначе осмотреть все достопримечательности, все музеи. До получения денег из России приходилось посещать только такие места, куда вход был бесплатный. В эти места не торопишься заглянуть, располагая большими средствами, и многие иностранцы годы проводили в Париже, так и не увидев самого интересного в этом древнем городе.

Мое безденежное положение облегчалось также и тем, что все приезжающие с багажом, даже с небольшим чемоданом, могли прожить в Париже в кредит целую неделю. В счет за комнату входила оплата так называемого маленького завтрака: громадная чашка очень скверного кофе с молоком, булочки, слоеный рогалик «круассан» и три свернутых завитком кусочка масла. Этого хватало на утро, но всему миру известно, что, когда во Франции стрелка часов показывает полдень, все музеи, магазины, заводы закрываются, и все бегут завтракать. Не последовать этому примеру попросту невозможно. Обычаи Парижа заразительны. Едва приехав, ты уже становишься парижанином.

С моим тощим кошельком пришлось долго искать по незнакомым улицам места, где можно было бы закусить за пару франков, и в конце концов я остановил свой выбор на одном из многочисленных бистро. Через распахнутые настежь двери серебрилась длинная высокая стойка – так называемый «цинк», у которой толпились люди в кепках, в поношенных котелках и извозчичьих кожаных цилиндрах. Слышался оживленный гомон голосов, звон стаканов, выкрики гарсонов: «Deux safs! deux!» – означало два бокала кофе, «Un Pernod! un!» – означало один стакан анисовой водки желтовато-зеленого цвета, разбавленной содовой водой. Заказы гарсонов мгновенно выполнялись толстым хозяином с красным лицом, стоявшим за «цинком» в рубашке с засученными рукавами, кепке на затылке и яркими цветными подтяжками на плечах. В его обязанности входило также время от времени чокаться и выпивать с завсегдатаями бистро.

В глубине, за низенькой застекленной перегородкой, я заметил четыре мраморных столика без скатертей; за одним жадно ели два французских солдата в красных штанах и синих длинных шинелях с подстегнутыми к поясу фалдами, другой столик был занят каким-то старичком с козлиной бородкой, в поношенном, но хорошо вычищенном сюртуке, а за третьим сидела веселая компания, распивая дешевое красное вино в бутылках без этикеток. Я сел в темный уголок за свободный столик и заказал гарсону, как мне казалось, самый дешевый завтрак: кусок ветчины и бок (бокал) пива. Не успел гарсон мне это подать, в комнату впорхнула совсем молоденькая тоненькая девушка с громадной картонкой в руках, огляделась и, не спрашивая разрешения, под села к моему столику. Она заказала себе дюжину устриц, вкусный на вид домашний паштет, полбутылки белого вина и чашку черного кофе. Мне все это показалось таким деликатесом, о котором я и мечтать не мог, но вышло, что мой завтрак обошелся не дешево: в каждой стране надо уметь жить.

Свою картонку девушка бережно поставила на стул подле меня и посматривала, как бы я ее не столкнул.

– А что в ней такое? – заинтересовался я.

– Это платье, – ответила девушка. – Несу его по поручению дома Ворт (самый шикарный в то время модный магазин на рю де ла Пэ) одной графине.

За графа я, конечно, выдавать себя не посмел и назвался коммивояжером, закупавшим мыло для Малой Азии. Это, казалось мне, объясняет непривычное для парижского уха произношение буквы «р», выдававшее мое русское происхождение. Выдуманное мною для себя социальное положение, по-видимому, удовлетворило черноглазую кокетку с копной кудряшек на голове, и мы условились встретиться в тот же вечер на балу «Табарен» на Монмартре.

– Вход туда бесплатный, – щебетала моя собеседница, – надо только заплатить за бок пива, а зато бутерброды там во какие большие!

Моя новая знакомая меня не обманула и вечером, встретив меня после работы, увлекла за собой на шумный, веселый и ярко освещенный Монмартр. Первый тур вальса мне было как-то неловко танцевать: что подумали бы петербургские танцоры и особенно светские дамы, увидев меня среди этой веселой, но такой не аристократической молодежи. Чувство свободы, чувство независимости от всяких предрассудков меня попросту опьяняло.

Я еще был новичком в Париже. Я не знал, что таких веселых и только на вид беззаботных девушек очень много, что они составляют среди парижан особую прослойку – мидинеток, что без них Париж не был бы Парижем, что уличный карнавал без их участия не был бы тем веселым праздником, который увлекает самых разочарованных пессимистов; что у мидинеток существует даже свой праздник – Св. Екатерины, считающийся с древних времен покровительницей женского труда.

После первых часов работы в набитых до отказа душных мастерских с низкими, закопченными от времени потолками, переноса грубые окрики и пинки старших мастериц, они – парижские мидинетки – ненадолго выбегают ровно в полдень на элегантную рю де ла Пэ, где их

уже ждут их «amis» (возлюбленные), чтобы проводить в ближайшее бистро. Этот час короткого отдыха, когда улицы Парижа заполнены спешащими завтракать девушками из магазинов и швейных мастерских midi (полдень). Отсюда и идет прозвище «мидинетки».

* * *

После встречи с «девушкой от Борга» прошло несколько дней, я получил деньги, сменил дорожный пиджак на фрак и в тот же вечер очутился в самом модном, только что открытом веселом ресторане «Максим». Дамы «от Максима» с роскошными откровенными декольте, кавалеры во фраках пили уже не пиво, а шампанское. После наводящих скуку петербургских ресторанов меня поразило, как могли эти незнакомые между собой люди, подхватывая хором модные песенки, которые играл оркестр, так легко заводить знакомства. Не успел я заговорить с красивой блондинкой, моей соседкой, как сидевший рядом с ней стройный молодой человек во фраке спросил меня:

– Мне кажется, вы офицер?! Я тоже. Лейтенант пятого кирасирского полка Бланшар.

– Как?! Вы тоже кирасир?! Выпьем за наш род оружия!

Но и пили окружающие как-то в меру, не по-русски. Пьяных не было видно. Не было тех скандалов, после которых мне приходилось в Петербурге развозить по домам офицеров-буянов, не было пьяных излияний дружеских чувств и «выяснений взаимоотношений».

Бланшар позволил себе только одну неосторожность: уговорил меня поехать на следующий день в знаменитую кавалерийскую школу Сомюр, где он проходил курс усовершенствования. Мы оба не сообразили, что на посещение школы требовалось разрешение, получаемое через военного атташе и французское военное министерство. Но я все же сдержал слово и, не думая о расстоянии, сел в поезд, помчавший меня чуть ли не через всю Францию далеко на запад. Я ошибочно предполагал, что военные учреждения находятся здесь, как и в России, рядом со столицей, «под рукой у начальства».

Поздно ночью на маленькой еле освещенной станции Сомюр меня встретил мой новый друг, уже в пелерине, накинутой на кирасирскую шинель, с большим конским хвостом, спускавшимся с каски на спину. (В наполеоновские времена конский волос предохранял шею от ранений при сабельных ударах.)

Кто бы мог подумать, что тридцать пять лет спустя после первого знакомства я встречу в газетах имя Бланшара как одного из командующих армиями, сражавшимися против Гитлера.

Из уважения к русской союзной армии начальник школы простил Бланшару его выходку. Бланшар был первоклассный кавалерист, и его успехи в учении позволяли рассчитывать на некоторые поблажки.

Для осмотра школы ко мне приставили инструктора из «кадр нуар»¹ капитана Фелина, и я смог вволю налюбоваться этой «французской лошадиной академией». Пришлось и самому пройти на опытном старом скакуне головокружительные препятствия, во много раз более серьезные, чем в нашей кавалерийской школе.

К вечеру я очутился в небольшой квартире моего чичероне. В изящно убранном и блиставшем чистотой крохотном салоне Фелин представил меня своей жене, красавице блондинке в воздушном белом платье. На маленьком столике был сервирован чай, торт, печенье, сэндвичи. Как мне ни хотелось есть, воспитание не позволило наброситься на эти яства. Хозяйка, видимо, заметив мое смущение, попросила не церемониться.

– У нас прислуги нет! Все, что вы видите, я ведь сама приготовила!

Так вот каковы француженки! Как они не похожи на наших полковых дам. Умеют и кастрюлю и метлу в руках держать, умеют и предстать перед мужем и гостем во всем обаянии

¹ «Черные кадры» – прозвище инструкторов Сомюрской кавалерийской школы, носивших черные мундиры

женской красоты. Быт офицера устроен иначе. Денщик Фелина детей в колясочке не возит и обязан только ухаживать за конем и чистить сапоги офицера; но он их только чистит, а не снимает и в морду не получает. После русской армии все это казалось странным, даже непонятым.

Сомюр был последним видением моего первого знакомства с Францией и заграницей. Отпуск кончился, и через несколько дней я очутился на русской границе. Жандармы, паспорта, унылые, еле освещенные вокзалы. Поезд тихо и бесшумно плетется через безбрежные пустыни Полесья и черные покосившиеся избышки редких деревень.

В Петербурге я, правда, встречу богачей, но они не будут знать, где и как убить время; найду я также и скромных тружеников, но они не будут знать, где отдохнуть и развлечься.

Заграница на самом деле «испортила» беззаботного кавалергарда: она заставила его задуматься над окружавшей его безотрадной русской действительностью.

Глава 2

С Маньчжурских на Елисейские поля

Заграничная командировка 1906 года явилась для меня единственным выходом из того тяжелого нравственного состояния, в котором я оказался по возвращении со злосчастной маньчжурской войны. Рушились все те старые идеалы, на которых я был с детства воспитан и которыми продолжал жить окружавший меня и ничего не желавший понять Петербург.

Отрывочные впечатления от первого путешествия за границу, и в особенности от нескольких дней, проведенных во Франции, вселяли надежду свободно вздохнуть и скинуть хоть на время с плеч тяжелый груз светских условностей и нелепых предрассудков.

Только там, казалось, и можно было отдохнуть.

Восстановив свои права на премию за окончание первым академии генерального штаба (восьмимесячная заграничная командировка с сохранением содержания и пособие в тысячу рублей), я мечтал поехать в Америку. Так советовал мне и отец.

К сожалению, мне не суждено было осуществить этот план. Начальник генерального штаба Федя Палицын, которому я изложил свой проект, заявил, что теперь уже не время выбирать тему для командировки, а требуется прежде всего выполнить задачи, поставленные перед армией проигранной войной. Одной из главных причин наших поражений он считал плохую организацию связи, а потому предложил объехать главные европейские армии и ознакомиться с имеющимися у них средствами связи и сообщения в самом широком смысле слова. Работу эту я должен был выполнить вместе с моим маньчжурским коллегой капитаном Половцевым, получившим такую же премию, как и я, но двумя годами позже. Изучение следовало начать с Франции, как союзной страны, где легче было получить нужные сведения.

Итак, судьба снова направляла меня в Париж; с маньчжурских полей я прямо переселялся на Елисейские. В Питере стояла февральская оттепель, Нева была еще закована в посеревший лед, а в Париже, вдоль Елисейских полей, уже цвели рододендроны.

В посольстве, на улице де Гренелль, нас принял наш посол Александр Иванович Нелидов, высокий, представительный старик с белыми бакенбардами. Он считался опытным дипломатом и отнесся ко мне особенно ласково, так как начал службу молодым секретарем еще при моем дяде, Николае Павловиче, в Константинополе.

– Ради бога, будьте осторожны с французами, не задавайте им слишком много вопросов. Тут теперь «*mot d'ordre*» (лозунг) такой: «*La Russie ne compte plus!*» («С Россией больше не считаются!»).

«Вот до чего докатилась Россия!» – подумал я.

С возможностью европейской войны во Франции тоже не считались.

Армия была временно не в фаворе. Антимилитаристические настроения в палате депутатов привели к сокращению военной службы до двух лет. Военный бюджет дошел до того минимума, при котором могут жить только экономные французы. Подобное положение не облегчало нашей задачи.

Изучение всех существовавших тогда средств связи и сообщения мы разделили между собой. Я взял на себя железные дороги, телеграф и радио, Половцев автомобили, велосипеды, почтовых голубей и полицейских собак. Все осмотры условились производить вместе, причем тот, кто изучал данную тему, только слушал и запоминал ответы местных работников, а другой задавал им заранее подготовленные вопросы. Это давало возможность не запугивать собеседника сосредоточенным видом, записыванием, переспросом, а слушающий мог глубже вникать в сущность получаемых объяснений и лучше их запоминать.

Разрешение на посещение различных военных учреждений мы получали через военного агента полковника Владимира Петровича Лазарева.

Лазарев был типичным кабинетным генштабистом, имел вид профессора: в очках, маленького роста, с жиденькой белокурой бородкой; говорил он тихо и вразумительно, но не увлекательно. В Париже он не был популярен, и во французских военных кругах к нему относились без большого доверия.

Быть может, это и послужило причиной того невнимания, с которым французский генеральный штаб отнесся к выработанному Лазаревым плану действий против возможного наступления германских армий по левому берегу Мааса. Владимир Петрович много потрудился над этим планом, но только история воздала должное его прозорливости: как в 1914, так и в 1940 году германские армии вторглись во Францию вдоль левого берега Мааса, через Бельгию. Уже за это одно можно было бы простить Лазареву его недостатки. Трудно ведь сосредоточить в одном человеке все качества, необходимые для военного атташе: он должен быть образован и вдумчив, чтобы давать правильную оценку положения, усидчив в работе – иначе он не сможет изучить все нужные материалы, и, наконец, общителен и приятен в обращении, чтобы завоевать с первого взгляда симпатии и доверие не только мужчин, но подчас и женщин...

В отношении нашей командировки Лазарев ограничился передачей нам письменных решений французского военного министерства, но никаких директив или советов мы от него не получили. Военные атташе часто не учитывают, насколько командированные могут быть полезны как их собственные осведомители.

Важнейшим для нас с Половцевым вопросом была организация железнодорожного транспорта, с него мы и начали нашу работу. Мы рассчитывали, что найдем во Франции обширную организацию для постройки и обслуживания железных дорог в военное время, подобную нашим железнодорожным батальонам. На деле же оказалось, что хотя железные дороги находились в руках пяти частных компаний, однако правительство в случае войны рассчитывало исключительно на работу этих обществ.

Несмотря на то что в мировую войну железные дороги стали играть роль не только стратегическую, но и тактическую в военных операциях, французские железнодорожные общества блестяще выполнили задачи по переброске войск и вполне оправдали оказанное им доверие. Это отсутствие китайской стены, воздвигнутой в России между военным и гражданским ведомствами, между казенным и частным делом, открыло мне в ту пору глаза на многое: царский бюрократический режим, не сумевший установить контакта даже с имущими классами, сам создавал себе затруднения там, где их могло и не быть.

Для изучения техники железнодорожного дела нам было предложено посетить офицерскую школу в Фонтенбло, этом историческом месте отречения от престола Наполеона и его прощания со старой гвардией.

В назначенный час, в полной парадной форме, привлекавшей внимание всех пассажиров, мы вышли на вокзале этой станции. Но никто нас не встретил, извозчиков не было, и пришлось добираться до школы пешком по страшной жаре.

Начальник школы, седой стройный генерал в черной венгерке и красных галифе, был преисполнен официальности и предложил немедленно отправиться на лекцию. К великому нашему изумлению, никто за весь день не пригласил нас к столу, и прием ограничился «*vin d'honneur*», то есть бокалом плохого сладкого шампанского в зале для заседаний. «А у нас-то, – говорили мы между собой, – уж, наверно, приезд подобных гостей послужил бы поводом к беспробудной пьянке»

Зато французы всячески нам помогли выполнить наше задание. В школе Фонтенбло проходили курсы усовершенствования артиллерийские и инженерные лейтенанты, окончившие уже ранее высшую политехническую школу, имевшую репутацию первой среди всех высших технических учебных заведений.

В громадной аудитории читал лекцию по эксплуатации железных дорог какой-то артиллерийский майор. Учебников не было, и все слушатели что-то быстро записывали. Заглянув

к соседу в тетрадку, я увидел неведомые мне до тех пор крючки и палочки и только тогда, догадываясь, что это стенографическая запись. (Во Франции стенографии обучаются дети еще в начальных школах.) Профессора, как мне объяснили, обязаны ежегодно готовить заново свой курс, чтобы вносить в него все новинки науки и техники. Я не мог, конечно, судить, насколько это выполнялось, но зато навсегда уложил в своей памяти понятие о французских железных дорогах. Взамен скучных учебников профессора Макшеева, которыми нас пичкали в академии, нам четко и наглядно были объяснены все элементы, которые необходимы для командира. Каждая лекция закреплялась посещением на следующий день железнодорожной станции, и после этого визита мне уже никогда не приходилось во Франции задавать вопросов о прибытии поезда: я навсегда запомнил расположение белых и красных квадратов на семафорных столбах французских станций.

Там же, в Фонтенбло, мне выдали постоянный билет для проезда на паровозах по всем железнодорожным линиям. Меня удивило, что всякий министр или депутат почитал своим долгом при приезде подойти к паровозу, чтобы пожать руку машинисту. Наши министры и на это не были способны, считая, что пожать замасленную руку человеку, от которого минуту назад зависела твоя жизнь, – дело не барское. Мне же посчастливилось на деле убедиться, какая ответственность лежит на машинисте, когда, плавно отойдя от Северного вокзала в Париже, мы понеслись со скоростью сто километров в час безостановочно прямо до Брюсселя. Прильнув к стеклу паровозной будки, я скоро, правда, привык к пролетающим мимо поездам вокзалов и платформам, но становилось жутко на стрелках и крестовинах и невольно хотелось, чтобы поезд шел тише. Машинист только поглядывал на висевшие перед ним часы, не выпуская из рук рычага и не обращая внимания на вихрь и свист, поднимающиеся встречными поездами.

Разочарование нас ждало при ознакомлении с радиосвязью, представлявшей тогда новинку. В конце маньчжурской войны наш конный отряд уже был снабжен выписанной из Германии полевой радиостанцией, работавшей на десятки верст, тогда как во Франции радиосвязь была едва налажена между парижскими фортами. Главная станция находилась еще не под башней Эйфеля, а на горе Сен-Валерий, и приводилась в действие ветхим бензиновым мотором, стучавшим и шумевшим, как старая кастрюля в руках Жестянщика.

– Ничего, – объясняли французы, – пока работает, а для замены у нас денег нет!

Так в богатой стране никогда не было денег для технических новинок.

Едва мы с Половцевым успели окунуться в парижскую жизнь, как к нам нагрянуло высокое начальство. Вернувшись однажды в свою холостую квартиру «гарсоньерку», – я застал за своим письменным столом самого Палицына, начальника генерального штаба.

– Вот, приехал навестить своих мальчиков! – сказал Федор Федорович и начал подробный допрос о наших парижских похождениях.

Оказалось, однако, что «мальчики» были ни при чем, а что Палицын приехал пронюхать про более серьезное дело – первое франко-английское военное соглашение. Англичане будто бы обязывались в случае войны послать во Францию экспедиционный корпус. Многим это казалось столь невероятным, что мнения о реальности подобных проектов разделились, и Палицын собрал совещание, вызвав в Париж военного агента в Лондоне – дальневосточного авантюриста свиты «его величества» генерала Вогака и из Брюсселя – серьезного кабинетного работника Кузьмина-Караваева. Мы тоже присутствовали на этом совете, после чего получили приказ: Половцеву временно исполнять должность военного агента в Лондоне, а мне – в Париже. Вогак и Лазарев уезжали в продолжительный отпуск для стажировки в Россию. Началась новая жизнь – первое ознакомление с моей будущей долголетней деятельностью.

* * *

Никто и никогда нас не знакомил со службой военных агентов, существовала только, как всегда у нас водилось, широковещательная программа, выполнить которую, конечно, никому не могло прийти в голову: до того в ней было много заданий. Каждый действовал, как бог на душу положит, стараясь главным образом восполнить недочеты в работе предшественника.

Помню, как лестно было заказать впервые визитные карточки «attach militaire de Russie p. i.» (русский военный атташе); последние буквы означали «временно». Мне, однако, казалось, что одно упоминание о том, что я являюсь представителем своей родины, налагает на меня какие-то священные обязанности. Как ответственно казалось запереть в первый раз в железный сейф секретный шифр, переступить в качестве официального лица порог французского генерального штаба, явиться в штатском сютуке и цилиндре к военному министру.

Проехав через Париж туристом и не встречая русских чиновничьих фуражек с кокардами, я по наивности объяснял себе этот феномен отсутствием бюрократического духа, замещенного в свободной, как мне тогда казалось, республике уважением к личности, а не к форме и связанному с нею социальному положению. Но как только я завел собственную визитную карточку и стал получать в ответ на мои визиты чужие карточки, то сразу постиг все их значение в этой «демократической» стране. Обозначенные на них звания, чины, род занятий, а особенно положение в торговом и промышленном мире с лихвой заменили нашу табель о рангах и скромные чиновничьи кокарды. Не по одежке здесь встречали, а по визитной карточке, и не по уму провожали, а также по карточке, провожая гостя, в зависимости от его положения, или до края письменного стола, или до дверей кабинета, а подчас и до передней.

Визитные карточки выполняют за границей самые разнообразные функции: хочешь получить приглашение на обед – забрось визитную карточку и, если ты сделал это лично, а не через посыльного, загни один угол; если твой знакомый женат – загни два угла; если хочешь получить место или работу – заручись визитной карточкой если не министра, так хотя бы депутата. А уже под новый год запасись по крайней мере сотней карточек для рассылки поздравлений. Без визитной карточки ты не человек.

С первых же шагов я почувствовал, насколько был прав наш посол, говоря, что с Россией мало считаются. Начальником 2-го французского разведывательного бюро (ведавшего иностранными военными агентами) состоял в ту пору полковник, у нас на этом посту уж, наверное, сидел бы генерал. Никакими преимуществами русский военный агент в союзном штабе не пользовался и ожидал приема раз в неделю вместе со всеми другими коллегами. Они заранее меня предупредили, что полковник – «немой». В ответ на малейшие вопросы он только издавал какие-то невнятные звуки и усердно пожимал плечами. Таким образом, мне скоро пришлось убедиться, что, кроме закупки выходящих в специальном военном издательстве «Лавоазель» книг и уставов, я никаких сведений о французской армии получить не могу.

Из иностранных коллег, которым я нанес визиты, самым расположенным ко мне, естественно, оказался болгарин капитан Луков. С ним-то я и решил посоветоваться о создавшемся для всех военных атташе положении.

– Единственный, кто здесь хорошо осведомлен, – объяснил мне мой коллега, так это итальянский полковник. Попробуйте с ним поговорить. Он ежедневно обедает в скромном ресторанчике «Lucas» на Плас де ла Маделен, вы его там сразу найдете с вечной сигарой, с соломинкой в губах.

В ответ на полученные от меня сведения о минувшей войне итальянец предложил в тот же вечер ознакомиться с его системой работы.

– От французов никогда ничего не добьешься, – заявил мне этот полковник с желтым, плохо выбритым лицом, одетый в грязный поношенный пиджак. – Поедем ко мне на квартиру, и там я открою вам мой секрет.

В двух небольших полутемных комнатках стояли полки с зелеными картонными ящиками, на которых были обозначены номера.

– Хотите, вот номер пятый? – сказал полковник. – Это мобилизация артиллерии. – В ящике оказались аккуратно наклеенные на листах бумаги газетные вырезки.

«Сегодня состоялся банкет по случаю проводов резервистов такого-то полка» – гласила вырезка из какой-то провинциальной газеты.

«Особенно отличились артиллеристы такого-то полка», – описывала другая газета какие-то местные маневры и т. д.

– Столичных газет я не читаю, – объяснял полковник, – их изучают только дипломаты. Вырезки, на первый взгляд, ничего не говорят, но когда вы изо дня в день и из года в год сопоставляете, делаете выборки, то порядок пополнения резервистами выясняется. Французы так болтливы!

Итальянский коллега представлял действительно исключение своей работоспособностью, так как остальные мои коллеги смотрели на парижский пост как на приятнейшую синекуру.

С первых же дней вступления моего в должность я только и слышал о предстоящих осенних маневрах, которые для военных агентов представляли как бы единственное заслуживающее внимания событие в году. Правда, это был единственный случай увидеть воочию войска, и оценка иностранцами всех европейских армий производилась в ту пору почти исключительно по их впечатлениям от больших маневров.

Во Франции большие маневры обставлялись, кроме того, особой торжественностью, и армии всех стран мира считали необходимым командировать на них своих представителей. Приятно было прокатиться в Париж, да еще с таким «ответственным» поручением.

В 1906 году это событие приобретало даже особое политическое значение, так как демонстративно подчеркивало только что заключенное военное франко-английское соглашение. На сохранившейся у меня фотографической группе иностранных представителей на больших маневрах в первом ряду сидит генерал Френч, будущий главнокомандующий британской армией в первую мировую войну, прибывший во Францию во главе целой миссии. В одном ряду с ним сидят генералы: начальник штаба бельгийской армии, начальник штаба швейцарской армии и другие; во втором ряду – полковники и подполковники; в третьем – майоры, а совсем наверху, в четвертом ряду, – капитаны, среди которых виднеется маленькая барашковая шапка набекрень русского представителя капитана Игнатьева.

Чувство ни с чем несравнимой гордости переполняло меня – представлять среди всего этого военного мира русскую армию. Как бы ни были велики маньчжурские поражения, а все же Россия оставалась Россией, и никто не мог не считаться с ее величием. И стало мне раз и навсегда ясно, что всем своим положением за границей я обязан не себе, а своей великой родине. Это чувство, зародившееся в самом начале моей заграничной службы, предохраняло меня от всех колебаний в дни великих революционных потрясений.

К сожалению, участие в пресловутых больших маневрах свелось как раз только к представительству: в поле с войсками мы проводили лишь короткие часы, а остальное время были заняты всем чем угодно, но только не военным делом. То прием у президента республики, то обед в городской ратуше, заданный «отцами города» – ярыми монархистами Компьена, в окрестностях которого происходили маневры, – то скачки, то «чай» с местными великосветскими дамами. С трудом удавалось уловить характерные черты военной подготовки союзной армии. Маневрами руководил генерал Мишель, командовавший 2-м корпусом и считавшийся одним из лучших военных авторитетов.

Прежде всего мне понравилось, что пехота была пополнена запасными и роты были доведены до штатов военного времени. Это приближало обстановку к действительности, чего я никогда не видел в Красном Селе, где на маневры выводились не роты, а их подобие, численностью в шестьдесят-семьдесят человек.

Войска были разведены на большие расстояния и действительно маневрировали, совершая сорокаверстные марши с длительными боями; в Красном Селе давно был бы уже дан отбой. Жара стояла ужасающая, летней одежды не было, и пехота в мундирах и шинелях, правда, с расстегнутыми воротниками, совершала переходы без малейшей растяжки, без одного отсталого. На малых привалах колонны останавливались по обочинам шоссе, и люди, опершись на ружья, отдыхали стоя. Глазам не верилось, сколько сил и выносливости скрывалось в этих маленьких, невзрачных на вид пехотинцах в красных штанах. Видно, они хорошо были смолоду кормлены и поены.

Однако никакие материальные условия, казавшиеся настолько выше наших, русских, не могли служить препятствием проникновению в ряды этой армии революционного духа – отзвука русской революции 1905 года.

Возвращаясь в толпе военных агентов верхом, я услышал доносившийся с пехотного бивака незнакомый мне тогда мотив «Интернационала». Его громко и не очень складно пели изнеможенные от тяжелых переходов французские запасные.

– Что это они поют? – спросил какой-то любопытный иностранец.

– Да это революционная песня! – объяснил несколько сконфуженно сопровождавший нас французский генштабист.

Военные представители малых европейских держав и южноамериканских республик продолжали, однако, возмущаться недостатком дисциплины во французской армии. Громче всех ораторствовал толстый полковник, весь расшитый галунами, надевший мундир по случаю маневров: в обычное время он был крупнейшим в Париже торговцем бразильского кофе. Отдельно от этой пестро разодетой толпы ехали по обочине дороги только три военных атташе: германский – майор Муциус, австрийский – капитан Шептицкий и я – исполнявший тогда временно должность русского военного атташе.

– Вы можете рассуждать, как вам угодно, но не забывайте, что деды этих маленьких солдат были тоже революционерами, что им не помешало всех нас хорошо высечь. Не правда ли, дорогие коллеги? – сказал капитан Шептицкий и взглянул вопросительно на меня и на Муциуса.

Непобедимых армий на свете нет, и, вспомнив об Иене, Аустерлице и Ваграме, я не протестовал.

– Да, – продолжал Шептицкий, – я, впрочем, изверился в так называемых народных армиях после всего, что пришлось наблюдать в Маньчжурии. Лучшие русские полки теряли свои боевые качества из-за пополнения их старыми людьми из запаса. При современном развитии техники лучше иметь армии поменьше, но повыше качеством. После подобного парадокса наступила минута всеобщего молчания, не выдержал только германский майор и на прекрасном французском языке резко отчеканил:

– Ну, вы все имеете право изменять, как вам вздумается, существующий порядок вещей, но мы, немцы, от всеобщей воинской повинности никогда не откажемся. Армия – это школа для немецкого народа. Без армии нет Германии!

Военные атташе обязаны давать беспристрастную оценку иностранным армиям, но почему-то они в большинстве случаев склонны искать только недостатки, а для старых маньчжурцев, как я и Шептицкий (он прошел всю войну в передовом отряде Ренненкампа), особенно сильно бросалась в глаза тактическая отсталость французской армии.

Русско-японская война ломала старые уставы и порядки во всем мире, но не во Франции.

– Посмотрите, Игнатьев, – обратился ко мне Шептицкий, рассматривая в бинокль атаку французской дивизии, – как они наступают змейками по открытому полю. Если бы вы могли так же свободно пересчитывать японские роты под Ляояном, то, наверное, выиграли бы сражение.

Эти слова моего коллеги напомнили мне впечатление, которое я вынес после собственного доклада во французской военной академии о главных тактических выводах из минувшей русско-японской войны.

Результат получился тогда для меня не вполне благоприятный: какой-то генерал, со свойственным французам авторитетным и в то же время вежливым тоном, заявил, что хотя он и очень благодарен своему молодому союзнику за интересный доклад, но следовать его советам не собирается.

– Никогда, – сказал он, – французская армия не станет рыть окопов, она будет всегда решительно атаковать и никогда не унизит себя до обороны.

Это было сказано в 1906 году. Бедные бывшие наши союзники, они всегда остаются верными себе, то есть отстают в своих военных доктринах на десятки лет. За месяц до начала мировой войны один мой приятель, гусарский поручик, был посажен под арест за то, что позволил себе на учении ознакомить свой эскадрон с рытьем окопов!

В конечном результате, вернувшись с больших маневров, я почувствовал, что остался еще очень далеким от союзной армии, и потому решил во что бы то ни стало повидать какую-нибудь часть на повседневной черной работе, и после долгих настояний мне удалось устроиться на маневры в 4-ю кавалерийскую дивизию.

– Главное, чтобы коллеги ваши про это не пронюхали, – бурчал мне «немой» полковник, начальник 2-го бюро.

Сменив пиджак на походный китель, я отправился на розыски моей дивизии, собранной в районе Аргоннских возвышенностей. Тут все было для меня ново. Вместо наших черных изб, крытых соломой, деревушки, через которые приходилось проезжать, состояли из нескольких двухэтажных, потемневших от времени домов, построенных из камня и крытых черепицей. Камень Франции всю жизнь представлял для меня предмет зависти: он облегчил этой стране с древних времен культурное развитие, его не надо было далеко искать и откуда-то привозить, он был тут же, в земле. Из него строились дома, памятники, города и – что самое важное дороги. Благодаря дорогам с каменным полотном, деревня во всякое время года могла общаться с городом.

Французская дорога имеет свою историю. Вот узкая длинная магистраль, мощенная громадными плитами, – это «*rav du roi*» – мостовая времен французских королей. Вот более широкое шоссе времен Наполеона I; великий корсиканец за несколько лет своего владычества успел покрыть Францию целой сетью дорог, и установленная им строгая классификация сохранилась и до наших дней. Сдавая как-то экзамен на право управления автомобилем во Франции, я прежде всего должен был знать, кому следует давать преимущественное право на перекрестке. Едешь по узенькой шоссированной дорожке – это коммунальная, которую строят, и чинят, и содержат сами жители; выезжаешь на более широкую шоссеиную – это департаментская, а уж когда попадешь на блистающую своим черным покровом широкую национальную, обсаженную в большинстве случаев деревьями, то тут уже получаешь преимущество над всеми встречными на перекрестках. Дороги – это первое, что привело меня в восторг во Франции, и сердце сжалось при мысли о нашем собственном бездорожье.

Я застал штаб дивизии в небольшой деревушке, затерянной в Аргоннских возвышенностях. Чуть свет начальник дивизии, сухонький седой старичок, выехал на чистокровной светлорыжей кобыле. И лошадь и всадник составляли вместе то необъяснимое элегантное целое, которое отличало французов от кавалеристов других наций.

– Мы выезжаем на целый день. Запаслись ли вы завтраком? – спросил меня начальник штаба молодой подполковник в черном мундире с белым суконным воротником – отличием драгун от кирасир, носивших тот же мундир, но с красным воротником. Оказалось, что за завтраком, состоявшим из булки с куском ветчины, надо было поехать самому в соседний переулочек и купить эту провизию у хозяйки гостиницы. Вестовых не было, – подав офицерам коней, они поскакали к своим эскадронам. Балованному русскому гвардейцу, гостю в союзной армии, такие порядки показались суровыми. Не так бывало у нас в Красном Селе. За начальником гвардейской кавалерийской дивизии, гусаром князем Васильчиковым, ездила крытая парная повозочка, и гостеприимный князь при каждом перерыве учения говорил, шепелявя, нам, своим ординарцам:

– Гошпода, милошти прошим!

На откинутой дверце повозки уже красовались бутылки мадеры и большие банки зернистой икры. Пока мы все закусывали, «противник», как нарочно, выскакивал из какого-то леса, заставлял нас врасплох, и маневр приходилось начинать сызнова.

Учение в Аргонне, как мне показалось, началось с азов: нацеливание друг на друга эскадронов. Этим мы занимались на эскадронных и полковых учениях, но французский генерал придавал большое значение отделке деталей боя мелких подразделений. Для меня эти первые конные атаки не по гладкому полю, как у нас, а по тяжелой, пересеченной местности открыли, как ни странно, глаза на всю военную историю Франции, на особые, характерные свойства французского бойца. Гусары и конноегеря в светло-голубых ментиках, на кровных разномастных арабчонках, вонзив громадные шпоры в бока лошадей, мчались со вскинутыми в воздух саблями на черные линии драгун, скакавших навстречу с желтыми бамбуковыми пиками наперевес. В эти мгновения они были действительно настолько возбуждены, что готовы были наброситься, как петухи, друг на друга, и офицерам приходилось задолго до столкновения останавливать их пыл, размахивая палашами. Так ходили в атаку кирасиры Латур-Мобура, гусары Мюрата и те французские кавалерийские полки Маргерита, что гибли под Седаном в последней бесплодной попытке разорвать огненное кольцо германской артиллерии. Стоя вдали от них и взирая на этот подвиг, престарелый император Вильгельм I прослезился и воскликнул:

– Oh, les braves! (Вот храбрецы!)

Учение постепенно развивалось, переходя от маневров эскадрона до полков и бригад, и вместо двух-трех часов, как бывало у нас, продолжалось чуть ли не целый день. В перерывах генерал, указав на ошибки, делал подчас смелые выводы, после чего, вынимая из кармана устав, неизменно добавлял:

– Это, впрочем, вполне отвечает хотя и не букве, но духу параграфа такого-то!

Я не заметил, как постепенно влюбился в этого маленького генерала. Он оказался врагом франкмасонов, что в ту пору представляло почти неблагонадежность. Позднее я узнал, что ему не дали командования и уволили от службы «по предельному возрасту».

Тогда же, на маневрах, мне, постороннему зрителю, открылись причины, погубившие в самом начале, в первые же дни мировой войны, этот несравненный по кровности конский состав французской кавалерии: люди весь день с коней не слезали, и когда я, по русскому уставу, при всякой продолжительной остановке слезал и держал лошадь в поводу, то офицеры улыбались и объясняли, что французские лошади достаточно сильны, чтобы выдержать на спине даже такого кирасира, как я. Коней ни разу не поили, и даже при переходе через речки и ручьи никому в голову не приходило обойти мост вброд, чтобы попоить их.

В 1914 году большая часть кавалерии генерала Сордэ погибла от жажды и переутомления коней. Другая часть оказалась со стертymi спинами из-за нелепой седловки. Вместо потника под седло подкладывалась синяя попона, сбивавшаяся при каждой посадке на левую сторону коня.

Каждый день мы меняли место ночлега, и я получал свой «billet de logement» (билет расквартирования). Сегодня мой хозяин – старик крестьянин. На пороге меня встречает еще совсем бодрая хозяйка в темном платье и белом чепце. Обстановка отведенной для меня комнаты по своему убранству напоминает квартиру русского чиновника со средним окладом. Старинная мебель обита бумажным красным бархатом, на круглом ореховом столе, покрытом кружевной вязаной салфеткой, какая-то большая нелепая лампа с шелковым абажуром, а над камином обязательная его принадлежность – старинное, уже совсем потускневшее от времени зеркало. Самая главная роскошь – кровать, широкая, двуспальная, с грубоватыми и громадными полотняными простынями и цветным пуховиком.

Снимая с себя амуницию, замечаю в углу какой-то блестящий предмет и не верю своим глазам – это высокий военный барабан, обитый медью, с двуглавым орлом. По форме крыльев убеждаюсь, что это орел эпохи Александра I; чем дольше жила Российская империя, тем орел становился округленнее и безобразнее, обратившись ко времени Николая II в какого-то распластанного и ошипанного цыпленка.

– C'est un tambour russe! Nous le conservons prcieusement et nous l'avons plac dans votre chambre avec l'spoir, que cela vous ferait plaisir².

Старый боевой товарищ какого-нибудь русского пехотного полка, прошедшего пешком из Москвы до Парижа, бивший тревогу, бивший сбор, отбивавший жуткую дробь при пропуске через строй под шпирнутенами, но бивший и «поход» церемониальный марш на удивление всей Европы. И вот, потеряв своего хозяина, погибшего или в бою, или от тифа, сразившего столько русских солдат в 1814 году, стоишь ты тут уже сотню лет как военная реликвия в этой затерянной в Аргонне французской деревушке. Здесь ты никому не мешаешь и даже доставляешь своим блестящим видом радость многим поколениям. На родной земле ты уже давно никому не был бы нужен, и никто не давал бы себе труда чистить по воскресеньям твою медь! Отрадно ныне дожить до дней, когда стали ценить старинные вещи, понимать, что в бездушном металле и дереве заложены подчас дорогие воспоминания о подвигах, горестях и радостях, пережитых нашими предками.

Назавтра мой «billet de logement» привел меня в небольшой потемневший от времени каменный домишко пехотного капитана в отставке. Одетый по случаю появления войск в опрятный пиджак с тоненькой красной ленточкой Почетного легиона в петлице, мой хозяин начал прием с показа мне своих владений, состоявших из обширного фруктового сада и крохотного, но идеально возделанного огорода, без единого сорняка, без единой ямки. Он снимает ежегодно два-три урожая разных овощей, их ему с женой хватает на целый год. Ценные груши «дюшес» он посылает на продажу в Нанси, и это вместе с пенсией составляет его скромный годовой бюджет. Рабочего с лошадью ему приходится нанимать только на два дня весной для пропашки. Корову он доит сам. Среди односельчан он поддерживает свое капитанское достоинство, восседая по вечерам в кафе. Там, за рюмочкой коньяку и стаканом кофе, он занимается «высокой политикой», будучи сторонником франко-русского союза, как держатель двух бумаг последнего нашего займа.

История этого капитана проста. Четверть века назад, выслуживши чин унтер-офицера, он окончил офицерскую школу Сен-Максанс, что ставило его ниже офицеров, окончивших Сен-Сирскую школу, куда попадали сыновья богатых родителей. Это же явилось причиной его медленного продвижения по службе, и, прокомандовав ротой свыше десяти лет, он достиг предельного возраста. Вернувшись в родную деревню, он вполне освоился со своим положением, почитывает, как всякий интеллигент, местную газету радикал-социалистов, а по воскресеньям — журнал «Меркюр де Франс» в лиловой обложке; на следующий год он рассчиты-

² Это русский барабан! Мы его сохранили в целости и поместили в вашу комнату в надежде, что это доставит вам удовольствие!

вайт стать мэром, а под старость дней – даже «conseiller gnral» (член департаментского совета, выборщик в многочисленных выборах), и как бы ни была мелочна и лишена интереса жизнь этого скромного человека, а все же по сравнению с бытом и с притязаниями русских офицеров она тогда мне представлялась симпатичной. Человек с капитанскими галунами не стыдится своего скромного происхождения, любит свое родное гнездо, своих односельчан, не гнушается черной работы, не опускается на дно, умеет жить на скромные средства не только без долгов, но даже со сбережениями на старость дней.

В крохотной столовой с блистающими полами, буфетом и столом, натертыми воском, в рамке под стеклом висит его беленький орден Почетного легиона на выцветшей от времени красной ленточке. «Honneur et Patrie» («Честь и Родина») – вот надпись, выгравированная на обратной стороне ордена. Тяжко было об этом вспоминать в 1940 году!..

В последний день маневров грузная малокровная лошадь, одолженная мне одним командиром полка, завалилась, как бесчувственная туша, на полном скаку. Падать было мягко на глубокой пахоте, и, обтерев пыль с рейтуз, я скоро нагнал своих. Все сделали вид, что не заметили моего падения, никто даже не поинтересовался спросить, не ушибся ли этот «знатный иностранец», но в этом-то и заключался кавалерийский этикет. На следующее утро, часа за два до выезда на учение, в монастырскую келью, отведенную мне под ночлег, постучался и вошел бравый драгун, вытянулся, взял ладонью наружу под козырек, «по-французски», и доложил:

– Господин генерал прислали узнать, как чувствует себя мой капитан?

Ушиб дает себя чувствовать, как известно, только на следующий день.

Вечером я уже прощался с генералом и чинами его штаба, пленившими меня своей скромностью. Ни академических значков, ни аксельбантов они не носили, так как офицеры генерального штаба, как корпорация, были упразднены, явившись во Францию козлами отпущения за поражение 1870 года. Оканчивавшие высшую военную школу преимуществ по службе не имели, возвращались в строй и, получив диплом, привлекались к работе в штабах. На учениях они носили на рукавах шелковую повязку вроде повязки посредника. Скромность мундира, равенство в правах делали здесь невозможной ту вражду к генштабистам, которая существовала в русской армии.

Я думал, что никогда уже не услышу после этих маневров о моих мимолетных французских друзьях. Но я ошибался: французы оказались очень памятьливыми. Это качество и их вежливость доставили утешение не только мне, но и всей нашей семье в тяжелые дни после трагической потери отца: в продолжение нескольких месяцев мои спутники по маневрам разыскивали через посольство мой адрес и слали в далекий и неведомый им Петербург письма с соболезнованиями.

Вежливость облегчает и украшает человеческие отношения.

Глава 3

Будни военного агента

Возвращаюсь с маневров. Из окна рассекающего ночную мглу «rapide» (экспресса) где-то впереди на горизонте виднеется зарево. Это – Париж. Там в этот час бесчисленные ресторанчики уже опустели, толпы людей, отдыхающих от дневной суеты, наводнили широкие террасы кафе. К полночи Париж уже уснет, и только иностранные туристы будут продолжать платить бешеные деньги за шампанское в монмартрских кабаре. Монпарнас был еще в ту пору не в моде; только в кафе «Де ла Ротонд» долго засиживаются какие-то соотечественники русские эмигранты, люди таинственные, говорят, – революционеры.

Кафе – неотъемлемая и главная часть быта всякого парижанина, и богатого и бедного, и вот почему кафе не смогли испепелить ни войны, ни революция. Зайти в кафе в двух шагах от своего дома, канцелярии, завода, встретить там завсегдатаев, давно ставших твоими друзьями, узнать городские и политические новости, перекинуться в карты или сыграть в шахматы, зимой согреться стаканом горячего кофе или рюмкой коньяку, а летом выпить стакан лимонаду, посидеть, наконец, просто в одиночестве, строить планы будущего, вспоминать о прошлом, а главное – забыть невеселое настоящее – вот в чем прелесть парижского кафе и секрет уличной парижской жизни, той жизни, которая отличала Париж от других столиц мира.

По широким опустевшим ночью городским артериям тихо двигаются в направлении к центру громадные двухколесные колымаги, на которых искусно сложены громадные кубы – красные, белые, зеленые; они так велики, что крупный откормленный першерон с его традиционным высочайшим хомутом кажется малюткой, а возницы так и не видно. Через час-другой сотни тонн моркови, капусты и лука-порея будут сложены ровными штабелями вдоль улиц и площади, окружающей центральный рынок – «халли» (Halles) – чрево прожорливого многомиллионного города.

К пяти часам утра все привезенные на рынок товары будут расценены к семи проданы с торгов по оптовой цене, к восьми часам перепроданы хозяевам ресторанов и магазинов по полуоптовой цене а к девяти часам остатки их будут уже распроданы по розничным ценам запоздавшим хозяевам.

Здесь люди отдыхают днем и работают только ночью. Не мог я думать тогда, что на этот самый рынок будут прибывать и мои скромные корзинки с крохотными драгоценными шампиньонами, выращенными лично мною в тяжелые годы нужды и одиночества.

Вокруг этой полутемной таинственной площади с безобразными темно-серыми галереями приветливо светятся огоньки дешевых ночных ресторанчиков, в которых грузчики, возницы, метельщики подкрепляются луковым супом, запеченным в глиняных горшочках, запивая стаканами красного «пинара». Перед рассветом появится там и дневной рабочий люд в кепках; облокотясь на «цинк», посетители, отправляющиеся на работу, уже потребуют по стакану горячего кофе, дополненного рюмочкой коньяку, и вдруг в этот трудовой мир ворвутся мужчины в черных фраках и накрахмаленных сорочках под руку с разноцветными дамами, покрытыми блистающими брильянтами, – поездка на «халли» входит в программу ночных увеселений пресыщенных Монмартром бездельников: им тоже надо попробовать лукового супа. Подобные поездки парижане называли «la tourne des grands dues» (объезд великих князей), что уже само по себе говорит о той печальной славе, которой пользовались члены романовской семьи.

Один изобретательный хозяин кафе-ресторанчика организовал даже специальное зрелище, рассчитанное на таких посетителей: «танец апашей». Кавалер в костюме и кепке, как у рабочего, что пьет вино за соседним столиком, то страстно сжимает в томном вальсе девушку с растрепанными волосами, с красным шарфом на шее, то в порыве ревности бросает ее на

пол, душит, мучает. Дамам страшно: вот-вот подобный апаш возьмет да и сдерет брильянтовую диадему с ее головы или жемчужное кольцо с напудренной шеи.

День не только в рабочих, но и в богатых кварталах начинался рано. Семь часов утра. Сквозь раскрытое окно моей холостой квартиры на Елисейских полях уже доносятся нежные звуки дудки продавца овощей. На улицу вышли уже консьержи, обмывающие из резиновой кишки малолюдные в этот час широчайшие тротуары. Наскоро одеваешься в верховой костюм – черную жакетку в талию и светлосерые бриджи. У подъезда уже ждет светло-чалая нервная полукровная нормандская лошадь, и через несколько минут ты уже галопируешь по одной из тенистых мягких дорожек Булонского леса. Легкая дымка, предвещающая жаркий день, смягчает контуры живописных островков и берегов прудов. Дышится свободно и беззаботно. О маньчжурских полях забыто, а о тяжелой петербургской атмосфере не хочется думать.

Утренняя верховая прогулка кроме удовольствия представляла и единственную возможность завести знакомства с военным миром по той простой причине, что военную форму офицеры надевали только в этот час и что утренняя верховая езда была обязательна для всего парижского гарнизона, от начальника штаба до самого скромного врача или интенданта. К девяти часам утра картина меняется, и вместо черных венгерок генералов, голубых доломанов гусар и красных штанов пехотинцев видишь на дорожках влюбленные пары, чьи костюмы имеют уже совсем не воинственный вид. Старики и молодые то болтают, проезжая шагом со сброшенными поводьями, то галопируют, хвастаясь друг перед другом широким ровным аллюром кровных лошадей. На главной аллее появляются для утренней поездки четверики цугом, впряженные в высочайшие «мэль-котчи», напоминающие старинные почтовые омнибусы; видны самые разнообразные упряжки, среди которых выделяются высоким ходом вороные орловские рысаки, вывезенные из России самим их хозяином, парижским бездельником князем Орловым.

Теперь уже делать в Булонском лесу нечего, надо спешить домой, благо можно ехать рысью по широким шоссированным авеню – Наполеон III, как известно, из боязни уличных революционных боев заменил где возможно каменную мостовую щебенкой.

Дома меня встретит молодой камердинер-француз. Он приготовил мне ванну и кофе, квартира уже убрана, пыль тщательно вытерта. Он будет открывать дверь приходящим, ровно в двенадцать часов уйдет завтракать, вернется в два часа, разнесет по городу визитные карточки, исполнит поручения, приготовит для вечера фрак, но ровно в восемь уже поднимется к себе в комнату, считая служебный день оконченным. Когда я вспомнил наших заспанных денщиков, разбуженных ночью, этот порядок показался мне прогрессом.

Работу начинаешь просмотром бесчисленных газет. То ли дело было в России: «Новое время» да «Русский инвалид», казалось, уже обо всем тебе расскажут. С десяти часов начнут появляться посетители. Русских офицеров узнаю уже через окно: даже в теплую погоду они стесняются ходить без пальто, кстати, обязательно горохового цвета. По солидной осанке, скуластому лицу и черному чубу не трудно распознать под штатским пиджаком донского есаула. Он ни слова не говорит по-французски и сам не может объяснить, как могла ему прийти в голову мысль провести отпуск в Париже. Он считает, что военный агент обязан показать ему город, как будто Париж не больше его собственной станицы.

Случайно в этот день мне было что показать представителю далекого тихого Дона: в два часа дня на Больших бульварах должно было состояться карнавальное шествие. По совету знакомых парижан любоваться этим зрелищем было всего удобнее, заняв столик у окна второго этажа одного из ресторанов в окрестностях Маделен.

Третья республика не забывала рецептов, завещанных ей древним Римом и первыми годами французской революции. «Хлеба и зрелищ!» – вот все, что считалось необходимым для «толпы», причем народные зрелища вроде карнавала обставлялись чуть ли не как

государственное дело, в котором главную роль играл в ту пору префект полиции – очередной кумир парижан – господин Лепин.

Когда со стороны площади Конкорд появилась длинная вереница карнавальных колесниц, казалось непонятным, каким образом она могла продвигаться в веселой, шумной толпе, запрудившей к этой минуте не только тротуары, но и мостовую. Никто не наводил порядка, и казалось, что столкновения неизбежны. Больше всего это тревожило моего есаула: как же может обойтись дело без казаков, нагаек или по крайней мере окриков городских: «Разойтись! Посторонись! Дай дорогу!»

Секрет скоро был открыт. Впереди процессии шел маленький человек с седенькой бородкой клином, в черном сюртуке, с трехцветной республиканской лентой через плечо. В руке он держал блестящий шелковый цилиндр и приветливо раскланивался на все стороны. Это и был Лепин.

За ним шла небольшая группа полицейских агентов в темно-синих мундирах и кепи. То и дело от нее отделялись парные дозоры, чтобы удалить тех зрителей, которые не следовали общему примеру и недостаточно быстро расчищали путь перед седеньким старичком.

– Vive Lepine! – слышались возгласы толпы. Публика, по-видимому, ценила фокус, которым префект доказывал свое могущество и бесстрашие.

Само зрелище меня разочаровало. Грубо намалеванные макеты резали глаз, привыкший уже ценить чувство меры в изяществе парижских театров и кафешантанов. Милы были только улыбающиеся молоденькие девушки: одни в белых поварских курточках и колпаках на колеснице рестораторов, другие – с веночками из роз на колесницах парижских цветочниц. Было ясно, что церемония карнавала организована синдикатами торговцев в целях нарядной рекламы. Хорошо грело весеннее солнце, ярко пестрел цветочный рынок Маделен, и весело щебетали мидинетки. Никому из пресыщенных жизнью богатых парижан не приходило в голову выходить в подобные дни на бульвары.

Через несколько дней мне пришлось узнать, что Лепин весьма заинтересовал одного из наших соотечественников, у которого возникло желание поглубже проникнуть в жизнь этого старичка.

В расписание дня в эту пору стала входить английская мода приглашать знакомых пить чай в пять часов, и вот на одном из таких приемов в красивом дамском салоне меня вызвали по телефону из посольства и просили отправиться без промедления в префектуру полиции: надо было освободить из-под ареста одного из наших генералов.

Поднявшись по широкой и, как водится во всех французских казенных домах, мрачной и закопченной лестнице, я встретил на втором этаже полицейского чиновника, передавшего мне визитную карточку на французском языке.

СКУГАРЕВСКИЙ

Генерал генерального штаба

Командир 8-го армейского корпуса

Фамилию эту я часто слышал в детстве, когда отец был начальником штаба гвардейского корпуса, а Скугаревский – начальником штаба 1-й гвардейской дивизии. Через минуту в комнату вошел высокий, худой, статный старик с длинными седыми бакенбардами, довольно сурового вида. Я почтительно, сняв цилиндр, вытянулся по-военному и отrapортовал о своем служебном положении. Старик в сером неуклюжем пиджаке тоже автоматически встал «смирно», протянул руку и, насколько мог, приветливо извинился за свою оплошность.

– Простите, – сказал он, – что, будучи в отпуску, я не нанес вам визита как военному агенту.

Подобную военную вежливость молодые поколения русских офицеров давно растеряли.

Из дальнейшего опроса участников этой «мелодрамы» выяснилось, что Скугаревский явился самолично в префектуру полиции и, предъявив визитную карточку, просил показать ему сперва рабочий кабинет префекта, затем его частную квартиру и больше всего интересовался размером получаемого Лепином жалования и «суточных». Растерявшиеся чиновники, учитывая высокое служебное положение генерала в союзной стране, исполняли его просьбы, но когда наш старик захотел забраться в спальню Ленина, то у них возникло подозрение, и они, вежливо извинившись, просили «обождать» получения указаний от посольства.

– Я ничего плохого не замышлял, – объяснил мне Скугаревский. – Мне просто хотелось убедиться, насколько скромно живет такой человек, как Лепин, дабы обличить наших губернаторов, которые, на мой взгляд, живут слишком роскошно и не заслуживают тех денег, которые на них тратятся.

Инцидент был исчерпан.

Исполнение должности военного агента офицером, только что прибывшим с театра войны, не могло пройти незамеченным во французском финансовом мире. Чуткость и наблюдательность являются главными качествами всякого финансиста, и для этих закулисных правителей Третьей республики интерес к России ослабеть не мог. Под предлогом военного союза против Германии эти господа слишком привыкли «стричь два раза в год на русских займах» покорных овец – подписчиков – и класть в свои карманы львиную часть от внесенных по подписке сумм. Для этого было необходимо всеми мерами создавать России кредит у тысяч мелких держателей займов. Лавочники и рантье должны были верить в кредитоспособность царского правительства.

Руководил этим доходным делом один действительный тайный советник, при каждом торжественном случае надевавший через плечо темно-синюю ленту Белого орла (один из высших русских орденов). Кто в Париже не знал этого авторитетного финансиста, доктора наук французского университета, русского финансового агента – Артура Рафаловича!

С посольством этот старик мало считался, и я был очень удивлен, получив от него приглашение на обед. За границей приглашения рассылаются заблаговременно, за несколько дней, а иногда и недель, и случайно этот обед совпал с днем роспуска 1-й Государственной думы. Обед был «холостой», то есть без дам, и я оказался самым молодым и единственным военным среди тузов Парижа. Мне стало ясно, что Рафаловичу хотелось показать своим друзьям участника русско-японской войны. Но о Куропаткине рассказывать не приходилось: за обедом надо было определить размер падения русских бумаг на бирже вследствие первого грубого нарушения новой «русской конституции». Конституцией они называли «Манифест 17 октября».

– А по-моему, – робко заметил я, – ничего от этого у нас не изменится, – и сразу почувствовал, как удивила этих авгуров во фраках с сытыми, рыскрасневшимися от вина лицами наивность молодого военного. Они оказались, однако, жестоко наказанными: англичане, как всегда, были лучше осведомлены и, использовав резкое падение бумаг в Париже, нажили на следующий день десятки миллионов.

Артур Рафалович имел в финансовом мире немало врагов, среди которых видной фигурой был барон Жак Гинзбург. Отец Гинзбурга – банкир – получил баронский титул за услугу, оказанную, как это ни странно, самому Александру II. Последний, заведя роман с фрейлиной своей жены княжной Долгорукой, прижил с нею двух детей, а овдовев, женился на ней морганатическим браком и дал ей титул княгини Юрьевской. Расходы, связанные с этой сложной интригой, оказались так велики, что даже услужливый министр двора граф Адлерберг не сумел отнести их непосредственно на государственный бюджет. Тут-то и подвернулся Гинзбург-отец, устроивший первый, так сказать, «французский заем». Сыну его, Жаку Гинзбургу, воспитанному в Петербурге, были привиты вкусы к окружавшей его золотой мишуре, звону шпор и гусарским ментикам. Красивый, статный юноша поступает юнкером в «образцовый» кавалерийский эскадрон, производится в офицеры, участвует в турецкой войне. Интересно

было видеть, с какой неподдельной гордостью этот пополневший, но навсегда сохранивший военный лоск банкир являлся на приемы в русское посольство со своим боевым орденом в петлице парижского фрака. Конечно, неуклюжему Рафаловичу нельзя было тягаться с Гинзбургом в светских манерах, открывавших доступ в дипломатические салоны.

Дипломатические связи толкали Гинзбурга на самые рискованные операции. Вероятно, под давлением англичан, а главное из жадности к наживе, Гинзбург в самый разгар маньчжурской войны сумел провести заем для Японии. Это дало против него козырь в руки Рафаловича, что, однако, не смогло помешать тому же Гинзбургу в 1906 году с еще большим успехом участвовать в проведении русского займа. Ему надо было нажать все пружины, и, вероятно, не без мысли об этом Гинзбург, по установленному во Франции обычаю, закрепил знакомство со мной приглашением на следующий день к завтраку у «Вуазена» (в русском переводе «Сосед»). Так назывался ресторан, славившийся лучшей в то время кухней, а главное – винным погребом. Интересно, что, чем шикарнее был ресторан, тем помещение его было скромнее, уютнее, но и грязнее: больших зал, больших театров французы недолюбливали. Ослепляющая роскошь в таких заведениях по вкусу немцам, а в особенности американцам. Мировая война многое изменила в облике Парижа. Исчез и «Вуазен». Не существует больше и «таблицы логарифмов», как я прозвал когда-то карточку вин, подносившуюся клиентам седым лысым «соммелье» (виночерпий). В отличие от лакеев в белых фартуках, его фартук был синим, что делало не такими заметными следы путешествий в запыленный винный погреб. В вертикальной колонке карточки были проставлены названия бордоских вин, подразделенных по качествам на четыре «крю» – группы, а в горизонтальной – года выхода вин за последние тридцать лет; в образованных от пересечения клеточках были указаны цены от пяти до ста франков за бутылку. Каждый мог выбрать себе вино, ориентируясь на его сорт, год выхода или же цену, как кому было удобнее. Вина года моего рождения особенно ценились (1877 год был одним из самых солнечных, самых благоприятных для виноделия в XIX веке).

– Объясните мне, пожалуйста, – спросил я за завтраком Гинзбурга, – что заставляет парижан всех возрастов и состояний с раннего утра стоять в очередях чуть ли не перед каждым маленьким банком или банковской конторой в ожидании права внести в них свои последние гроши? «Русский заем! Русский заем!» твердят они. Но мы же проиграли войну, неужели они стремятся нам помочь?

– Как вы наивны, – ответил мне Гинзбург. – О России они имеют представление, заимствованное в утренней газете. В настоящее время после ликований по поводу «русской конституции» все «благомыслящие» газеты взялись за ум и по нашим указаниям начинают пугать держателей русских займов русской анархией, от которой может спасти только военная мощь царского правительства. Мы, банкиры, отлично знаем, чего стоит Николай II, но его надо поддерживать, он нам нужен для развития наших финансовых связей с вашей страной. Вы не понимаете, какое блестящее будущее ее ожидает. А держателей русских бумаг интересует в конце концов только регулярная оплата купонов и получение лишнего процента в год по новой подписке. Если вы сомневаетесь, зайдите в «Креди Лионнэ». Там с утра до ночи вы увидите мужчин и женщин, сидящих в специальном зале за маленькими столиками. У каждого в руках ножницы, принесенные из дому, которыми они совершают священнодействие – отрезку очередных купонов.

– К тому же, – авторитетно добавил Гинзбург, – заем выпускается значительно ниже номинала, и это очень выгодно. Вам, дорогой капитан, остается лишь помочь нам беседами с некоторыми журналистами, чтобы успокоить их в отношении силы русской армии. Я ведь старый юнкер, тоже могу рассказать о блестящем майском параде на Марсовом поле...

Бароны Гинзбурги искренне привыкли считать французский народ за покорных овец и, подобно страусу, кладущему голову под крыло при виде опасности, закрывали глаза на тот

сильнейший отклик, который вызвала русская революция 1905 года во французской рабочей среде.

В самом Париже нетрудно было в этом убедиться, и не надо было ездить для этого, как в России, на окраины и заводы. Дома я только слышал о рабочих, а в Париже в 1906 году я, наконец, их увидел собственными глазами, и не раз, и не два.

Обычно по субботам, по окончании рабочей недели, незаметно для полиции и постороннего взгляда люди в кепках и синих блузах постепенно наводняли центр города – Авеню де л'Опера и Плас де ла Бурс. Толпа быстро росла, и на широкие ступени здания биржи влезали какие-то ораторы и сильно жестикулировали. Слышать их можно было из окон кафе, откуда я наблюдал эти сцены.

– Les ouvriers russes nous donnent Texemple! (Русские рабочие нам подают пример!)

Толпа гудела. Эти возгласы были слышны отовсюду, но каждый раз, когда крики усиливались, в гущу людей тихо врезались кирасиры в стальных касках и кирасах, на мощных раскормленных конях с подстриженными хвостами. Они двигались шагом, разомкнутыми рядами, но как только кто-нибудь схватывал коня за повод или громко ругался, офицер невозмутимо командовал «Au trot!» («Рысью!»). Толпа расступалась, кони сшибали людей, и через несколько шагов снова раздавалась команда «Au pas!» («Шагом!»). Ораторы тем временем продолжали агитировать толпу.

– Они требуют восьмичасового рабочего дня и повышения заработной платы. Это не так страшно! – объяснили мне старожилы.

Ободренный русской революцией, французский рабочий класс не на шутку, впрочем, напугал в этот год своих хозяев. Только этим можно было объяснить появление в последних числах апреля во внутреннем дворе моего дома целого взвода пехоты, составившего ружья в козлы, совсем как на биваке.

– Это они пришли вас охранять по случаю Первого мая, – таинственно объяснил мне консьерж, этот грозный диктатор всякого, парижского дома.

Без этого случая я бы долго еще, быть может, не знал о существовании этого дня – праздника трудящихся. Так Париж открывал передо мною новый, неведомый для меня мир.

* * *

Среди многочисленных опасностей, подстерегающих военных агентов, немалой являются изобретатели. Ничто не служит гарантией, что перед тобой может появиться просто неудачник, или мошенник, или даже сумасшедший. Каждый из них одержим своей манией, и выпроводить его и отвязаться от него бывает нелегко.

– Вот мое изобретение, – говорит мне посетитель с сильным немецким акцентом, вынимая из заднего кармана брюк браунинг. – Смотрите, я взвожу курок, целюсь, а прицел и мушка автоматически освещаются.

– Слушайте, – говорю я ему в шутку, – предупреждаю вас, что в моем присутствии зажигалки для папирос и электрические лампочки никогда не загораются.

К счастью, мое предсказание на этот раз сбылось, и мне не пришлось терять времени, чтобы сообщить энергичному изобретателю о существовании подобной системы в австрийской полиции. Он вылетел из моего кабинета, как от зачумленного.

После подобных случаев я начал относиться с некоторым недоверием ко всякого рода предложениям, хотя и не сознавал еще в ту пору, что юркие дельцы, узнав о появлении молодого капитана в роли военного атташе, естественно, пытались использовать его неопытность.

Всю жизнь начальство считало меня или слишком молодым, или слишком старым для занимаемой мною должности; еще по окончании академии один из благожелательных профес-

соров сообщил мне по секрету, что в моей аттестации отрицательным свойством была признана молодость.

С первых дней вступления в должность военного агента мне пришлось познакомиться и с ведомством, представлявшим главную пружину в сложном механизме царского режима – сыскальной полицией.

В широких кругах Парижа еще была свежа память о знаменитом Рачковском, начальнике иностранного отдела сыскальной полиции, отдела, влиявшего не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику России. Я застал на должности руководителя этого почтенного учреждения Гартинга – человека, невзрачного на вид, которому, конечно, было далеко до его блестящего предшественника. Все русские послы по очереди, особенно Извольский, в свое время возмущались размещением этого таинственного учреждения в одном из флигелей посольского дома. Сыщики попросту использовали экстерриториальность посольства, послу подчинены не были, изменить этот порядок никто не имел права, и дипломатам оставалось только вздыхать и негодовать, читая нелестные заметки в свой адрес, появлявшиеся время от времени в «левых» парижских газетах.

«Rue de Crenelle – это не посольство, а филиал царской охранки», – писали французские репортеры.

Знакомство с Гартингом помогло мне в первой агентурной работе. Тот же всезнающий итальянский коллега, который объяснял мне методы работы по газетным вырезкам, не без иронии спросил меня, что я думаю о заказанном японцами на заводах Сен-Шаман осадном парке.

На следующий день я, естественно, задал тот же вопрос «безмолвному» начальнику 2-го французского бюро, который вынужден был сказать, что хотя он об этом слышал, но объяснить мне ничего не может, так как заказ дан не казенным заводам, а частной промышленности. А я-то, наивный, рассчитывал на содействие союзного генерального штаба, верил искренности французских излияний о безграничной дружбе!

Как подобает дипломату, я скрыл свое негодование и любезно распростился с полковником, проводившим меня, по обыкновению, до двери.

Долго бродил я в этот день по бульварам, раздумывая о том, что необходимо предпринять. Стоял август. Париж опустел: спасаясь от жары, все разъехались по морским курортам, и никто не мог мне помочь даже советом – каким образом получить подтверждение о новых замыслах японцев?

Не хотелось идти к Гартингу, но где же, как не у него, найти негласного агента, способного раскрыть тайну японского заказа! В мемуарах бывших тайных агентов (открывающих, впрочем, только всем известные тайны) вербовка секретных сотрудников обычно изображается как дело, никогда не представляющее затруднений. Выработались даже трафареты использования для этой цели определенных категорий людей – падших женщин, прокутившихся мужчин или карточных игроков. Но я уверен, что если бы кому-нибудь из усердных читателей подобных романов поручить выбор секретного сотрудника для самого незначительного дела, то он сразу бы понял, что безошибочных рецептов здесь нет, что вербовка агентуры – это ремесло, требующее многолетней и тяжелой практики, полной разочарований, провалов, неудач, о которых в романах, конечно, не пишется.

Практики у меня не было, терять время было нельзя, и поэтому я ухватился за первого рекомендованного мне Гартингом помощника – отставного французского капитана. Передо мной предстал немолодой француз с тонкими усиками, скромно одетый, имевший вид почтенного чиновника; от военной службы у него остались только сухость тренированного когда-то человека и точность в изложении мысли. Никакой вертлявости, пронырливости в нем не было, он прямо смотрел в глаза, ходил с высоко поднятой головой и ничем не выделялся из толпы средних французов (*français moyen*).

Не помню, каким образом мне удалось узнать еще до первого свидания с капитаном Д. одну из немаловажных подробностей о порядке японских заграничных заказов: японцы всегда требовали продажи не только приборов и машин, но и всех решительно деталей, сопровождавших эти предметы. При заказе орудий они заказывали той же фирме и снаряды к ним, и это мне помогло. Капитан Д. после нескольких дней поисков, казавшихся мне вечностью, предложил мне устроить свидание с одним инженером, готовым продать за крупную сумму образцы снарядов. Необходимыми деньгами я не располагал, получить их из генерального штаба на столь сомнительное дело нечего было и думать, оставалось попытаться занять в посольстве. На счастье, престарелый осторожный посол был в отпуску, а поверенным в делах оказался экспансивный, но талантливый советник посольства Неклюдов. Выслушав мой рассказ, он открыл сейф и выдал без расписки требуемую сумму.

И вот настало утро, когда я должен был впервые забыть свою фамилию, служебное положение и идти на рискованное предприятие без ведома своего петербургского начальства. Мне казалось, что я все предусмотрел, чтобы скрыть от французских властей свой «негласный» набег на их военную промышленность. Один из едва заметных в Париже входов в метро находился в нескольких шагах от моей квартиры, и в тот ранний час, когда я вышел на улицу, я не встретил ни одного прохожего. Через несколько минут, выйдя из поезда подземной железной дороги на Лионском вокзале, я тут же купил билет до Лиона. В 1-м классе пассажиров всегда бывает мало, и мне казалось, что во 2-м классе я буду менее замечен в своем дорожном сером костюмчике. В Лионе, не выходя с вокзала, я занял комнату в отеле «Терминус», составляющем одно целое с вокзалом, и стал ждать, как было условлено, таинственного инженера со снарядами. Паспортов в ту пору не требовали, и я отметился в гостинице чужой фамилией: «Брок, коммерсант». Мне все казалось, что вот-вот откроется дверь в мой номер, и французская полиция спросит: «Кто вы такой?» Запутаться в эту минуту не следовало, и потому я «занял» на этот день фамилию у одного из товарищей по корпусу, которую забыть не мог; к тому же фамилия «Брок» лишена резкой национальной окраски – носящий ее может быть и русским, и немцем, и англичанином...

План мой тем временем совершенно созрел. Мне прежде всего хотелось этой первой сделкой завербовать инженера и работать с ним впредь без посредства капитана Д. Заплатить условленную сумму, говорил я себе, могу только в том случае, когда найду на снарядах метку-иероглиф японского приемщика, пробитую в стальном корпусе снаряда. Забирать и везти в Париж тяжелые снаряды я, конечно, не стану: усвоенные из корпуса знания об отношении длины снаряда к калибру, определяющем род орудия (длинного, гаубицы или мортиры), давали возможность ограничиться точным измерением снарядов. Для этого я запасся и дюймовой линейкой и бечевкой.

Программу удалось выполнить удачно, и вечером мы расстались с незнакомцем, утачившим из моего номера два принесенных им тяжелых чемодана, уже старыми друзьями. Ночью я вернулся в Париж, а утром в обычный час, в сюртуке и цилиндре, выбритый и надушенный, вошел как ни в чем не бывало на обычный прием к начальнику 2-го бюро.

– Давно не видел вас, капитан, – сказал мне с улыбкой полковник. – Ну как, вы остались довольны вашим путешествием?

С этого дня я понял, что 2-е бюро французского генерального штаба умеет хорошо работать.

Но в работе нашей заграничной разведки пришлось разочароваться.

Лазарев, вернувшийся в Париж, выслушав мой доклад, жестоко журил меня за неосторожность. Напрасно я доказывал, что, судя по определенным мною калибрам, японский осадный парк предназначается именно против Владивостока, по которому можно вести огонь или с самых дальних дистанций, или же только мортирами. Мой старший коллега заявил, что такими делами он в союзной стране заниматься не намерен.

Командировка кончалась, но возвращаться в Петербург не хотелось. За несколько месяцев, проведенных во Франции, я уже сжился с нею. Передо мной открывались возможности новой интересной деятельности, встречались новые люди, новые нравы, а главное – какое-то живое, манящее к себе дело.

Неужели я навсегда покидаю Париж?

Глава 4

Снова на родине

Конец 1906 года – самые тяжелые и мрачные дни в моей личной жизни, одна из самых темных годин истории моей родины. Военное положение в столицах и больших городах, виселицы, расстрелы, политические жертвы.

Мою семью и меня постигает большое, непоправимое горе – я теряю своего отца и друга, Алексея Павловича. Об его убийстве в Твери меня извещает сам Столыпин: вернувшись с разбивки новобранцев и сидя за редактированием отчета о французских маневрах, я неожиданно был вызван к телефону каким-то неизвестным мне князем Оболенским, сказавшимся адъютантом председателя совета министров. Он сообщил, что Столыпин вызывает меня к себе в Зимний дворец. Это было столь невероятным, что я сразу почувствовал беду. Такой вызов не предвещал ничего хорошего.

Времена переменились: вместо царя во дворце живет Столыпин. Там, где я когда-то слышал беззаботную болтовню на балах, выносятся суровые решения и приговоры всероссийского диктатора.

Я был взволнован до боли, но взял себя в руки и, насколько мог спокойно, вошел в роскошный кабинет председателя, совета министров.

Меня встретил высокий представительный брюнет с жиденькой бородкой, с глубоко впавшими в орбиты темными глазами. Несмотря на будний день и деловую обстановку, Столыпин был одет нарядно – в длинный сюртук с шелковыми отворотами.

Встреча окончилась быстро. После осторожного сообщения об убийстве отца ему осталось только в знак сочувствия подать мне свою сухую нервную руку. Мне тоже нечего было ему сказать.

Над свежей могилой моего отца разыгрывалась политическая вакханалия. Мне, как сыну и военному служащему, прекратить ее было не под силу. Пользуясь моим продолжительным отсутствием, вызванным маньчжурской войной и парижской командировкой, даже самые близкие люди старались мне доказать, что политические взгляды отца за последние месяцы переменились: например, он будто бы находил вполне нормальным приветственную телеграмму царя Дубровину – главе черносотенного «Союза русского народа».

Я знал, что отец никогда не высказывал особых симпатий и к стороннику реакционеров – архиерею Антонию Волынскому. Алексей Павлович, несмотря на всю свою религиозность, умел отдавать «кесарево – кесарю, а божье – богу» и не допускал вмешательства «батюшек» в государственные дела.

Черные монашеские клобуки, черные дни мрачной реакции.

Что ни день, надевай мундир с траурной повязкой и поезжай на панихиду то по том, то по другому генерале или сановнике. Панихиды всегда играли немаловажную роль в жизни светского Петербурга, на них встречались когда-то все знакомые, назначались любовные свидания; в гостиную, где лежал покойник или покойница, никто не входил, и публика с зажженными свечами в руках могла вдоволь наговориться в соседних комнатах и коридорах квартиры. Теперь же грустные православные песнопения только усиливали мрачное настроение правящих кругов, еще не оправившихся от страха, вызванного революцией.

Хочется бросить военную службу. Вспоминаю Париж. Подальше, подальше бы от российского безысходного мрака. Старые маньчжурские мечты о реформах явно неосуществимы, а военный мундир с боевыми орденами обязывает оставаться в армии.

После парижской командировки я горько жаловался Феде Палицыну на недооценку Лазаревым сведений о японском заказе осадного парка во Франции. Мой хитрый начальник быстро меня успокоил, закидав вопросами о технических деталях японских орудий. Прервав отноше-

ния с моим французским осведомителем, я, разумеется, не смог дать исчерпывающих ответов. Так навсегда и был похоронен этот вопрос.

– А вот почему вы медали за японскую войну не носите? – спросило меня начальство.

Медаль представляла собой плохую копию медали за отечественную войну, бронзовую вместо серебряной; на обратной стороне ее красовалась надпись: «Да вознесет вас господь в свое время».

– В какое время? Когда? – попробовал я спросить своих коллег по генеральному штабу.

– Ну что ты ко всему придираешься? – отвечали мне одни.

Другие, более осведомленные, советовали помалкивать, рассказав «по секрету», до чего могут довести услужливые не по разуму канцеляристы. Мир с японцами еще не был заключен, а главный штаб уже составил доклад на «высочайшее имя» о необходимости создать для участников маньчжурской войны особую медаль. Царь, видимо, колебался и против предложенной надписи: «Да вознесет вас господь» – написал карандашом на полях бумаги: «В свое время доложить».

Когда потребовалось передать надпись для чеканки, то слова «в свое время», случайно пришедшиеся как раз против строчки с текстом надписи, присоединили к ней.

Ни в одно из прежних царствований не раздавалось, кажется, столько медалей и различных значков, как при Николае II. Начав службу, я носил при парадной и служебной форме только маленькую серебряную медаль на голубой андреевской ленточке «за коронацию». Потом присоединил к боевым орденам маньчжурскую медаль.

В 1912 году, уже совсем без заслуг с моей стороны, мне прислали медаль с надписью:

«1812. Славный год сей минул, но не пройдут содеянные в нем подвиги».

Надпись мне понравилась. Медали, отмечающей трехсотлетие дома Романовых, я не успел купить (ее мне не прислали): я уже служил за границей и был избавлен от необходимости участвовать на торжествах по этому поводу. Я все больше сознавал, что династия, судя по ее последним представителям, не заслуживает почета.

Конец империи ознаменовался столетними, двухсотлетними и даже трехсотлетними юбилеями – по случаю их каждый полк, каждое учебное заведение выдумывали какой-нибудь значок, лишний раз продырявливалась левая сторона мундира. Высшие учебные заведения при этом старались подражать рисунку значка генерального штаба, который когда-то был единственным в русской армии, носившимся не на левой, а на правой стороне груди.

Серию подобных празднеств открыл, кажется, мой кавалергардский полк. В 1899 году отмечалось его столетие. В значке полк не нуждался. Зато ему навязали новый полковой штандарт. С неподдельной грустью расставались не только офицеры, но даже и солдаты с нашим старым полковым штандартом, тяжелым квадратным полотнищем, сплошь затканым почерневшим в пороховом дыму серебром. Он видел Аустерлиц, Бородино, Фер-Шампенуаз и Париж, держась за его край, я приносил офицерскую присягу, а теперь его, как покойника, взвод 2-го эскадрона отвез и «похоронил» в соборе Петропавловской крепости.

Церемония прибавки нового штандарта происходила в Аничковском дворце на Невском, где жила вдовствующая императрица – шеф полка. На столе лежала аляповатая икона, написанная масляной краской на холсте, изображавшая глядевших друг на друга седого старичка и старушку. Это были Захарий и Елисавета, в честь которых была построена при императрице Елисавете полковая церковь. День этих святых считался днем полкового праздника. Икона была обрамлена малиновым бархатом. На обратной стороне был вышит вензель Николая II, подчеркивая неразрывную связь войсковой части с личностью монарха. Офицеры, один за другим, по старшинству, специальным серебряным молоточком вбивали очередной гвоздик, прикреплявший полотнище к древку. Тяжелую серебряную цепь, на которой развевался наш старый штандарт, заменили хрупкой цепочкой, такой же дешевой, как и вся бутафория, введенная при злосчастном царе. Не на полевым галопе, не на лихом карьере, а тут же, на Нев-

ском, при выезде из дворца цепочка... порвалась, и новый штандарт беспомощно повис, как бы предвещающая беды и несчастья.

Для поддержания царского престижа и поднятия духа в армии юбилеи оказались недостаточными. Тогда-то талантливый генштабист и лихой кавалерист Сухомлинов, обратившись в низкопоклонного царедворца, решил потешать слабоумного царя все новыми и новыми украшениями полковых форм. Полковники и генералы генерального штаба тешились звонкими саблями, заменившими в мирное время шашки, и отвратительными копиями старых киверов с дешевыми позументами, введенными вместо барашковых шапок. Все это, как известно, империю не спасло, и не таких реформ ожидали от правительства бывшие маньчжурцы.

Во время войны я исполнял в штабе 1-й армии полковничью должность, а в Петербурге мне предоставили в штабе гвардейского корпуса место, которое обычно занимали только окончившие академию птенцы.

Первое поручение – разбивка новобранцев в Михайловском манеже. Новый главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, опора Витте в революционные дни, уже не решался лично приезжать на разбивку и поручал это «ответственное дело» командиру гвардейского корпуса Данилову, одному из признанных Петербургом маньчжурских героев. Бравый генерал хоть и начал службу в гвардейских егерях, но, конечно, не мог знать, как когда-то великий князь Владимир Александрович, всех традиций гвардейских полков и поэтому особенно ценил мои познания, унаследованные от отца, старого гвардейского служаки. При входе в манеж строился добрый десяток новобранцев «1-го сорта», то есть ребят ростом в одиннадцать вершков и выше. Как желанное лакомство, их разглядывали командиры и адъютанты гвардейских полков. Однако самые высокие и могучие доставались гвардейскому экипажу, чтобы с достоинством представлять флот на весельных катерах царских яхт. Рослые новобранцы видом поглубже попадали в преображенцы, голубоглазые блондины – в семеновцы, брюнеты с бородками – в измайловцы, рыжие – в московцы. Все они шли на пополнение первых, так называемых царевых рот. А дальше тянулись бесконечные линии обыкновенных парней в полушубках и украинских свитках, опашенных невиданным блеском мундиров, касок, палашей и красной подкладкой седого генерала с усищами и царскими вензелями на погонах.

Внешне эти застывшие от страха люди, почтительно снимавшие шапки, не изменились за те десять лет, что я их не видел, однако, выслушивая просьбы некоторых из них, можно было заметить, что среди этой массы уже появились смельчаки. Раньше Владимиру Александровичу приходилось слышать лишь скромные просьбы о назначении в тот или другой полк из-за прежней службы в нем родного брата или отца. Теперь эти заявления делались самым настойчивым тоном, без ссылок на родственников, а просто так, по вкусу: «Хочу служить в гусарах, прошу назначить в стрелки», – и все как раз в те полки, которых в старое время избегали, зная наперед царившую в них тяжелую муштру. Петербургские штабные служаки мне тут же шепнули, что надо опасаться подобных заявлений, так как они исходят от людей, завербованных революционными организациями, которые должны разлагать наиболее верные полки в царской резиденции – Царском Селе.

В штабе на Дворцовой площади за составлением ведомостей об очередной разбивке мне вспомнились маньчжурские поля, безграмотные бородачи, тяжелые поражения, скромная французская пехота, мечты «зонтов», беседы с Куропаткиным.

Если все здесь так замерло, если мы будем по старинке тратить время на отбор «рыжих» и «курносых», то когда же и кто начнет думать о реформах? В штабе, кроме самого Данилова, маньчжурцев нет; к нему-то и надо обратиться, используя как предлог составление плана зимних тактических занятий.

– Бросьте, бросьте эти мысли, Алексей Алексеевич, – объясняет Данилов. – Мы здесь с вами, кроме охраны престола, других задач не имеем. Запомните это раз навсегда.

Ушам не верится! Бывший начальник 6-й сибирской стрелковой дивизии уже забыл Ляоян и повязан генерал-адъютантскими аксельбантами! Блестящая столица смирила и других маньчжурцев. Я сам на Елисейских полях старался забыть прошлое, и только тяжелое пробуждение в Петербурге снова открыло глаза на трагическую русскую действительность.

Данилов, впрочем, имел основание беспокоиться за целостность престола. В гвардии, в блестящей царской гвардии, были еще свежи воспоминания о «крещенском выстреле» 1-й «его величества» батареи во время салюта настоящим снарядом по Зимнему дворцу.

Не стерлись еще впечатления о выходе 1-го батальона 1-го полка Петровской бригады. Накануне восшествия на престол Николай II как раз командовал 1-м батальоном преображенцев, а десять лет спустя этот батальон отказался идти его охранять и держать караул в Петергофе. Дело произошло перед концом лагерного сбора в Красном Селе. Солдаты вышли на переднюю линейку с криками: «Не пойдем! Не пойдем, а поедем!»

Люди не хотели идти пешком, а требовали поезда.

Батальон был заперт в манеж, обезоружен, с людей были сорваны гвардейские отличия, погоны, и батальон в полном составе был сослан как штрафной в село Медведь Новгородской губернии.

После этого офицеры-преображенцы стали покидать полк, а пажи и юнкера отказывались выходить в «опозоренную» войсковую часть. Николай Николаевич рассвирепел и решил перевести в этот полк без предварительного согласия офицерского собрания лучших офицеров из маньчжурских пехотных полков. Среди них попал в преображенцы и капитан Кутепов, будущий председатель эмигрантского общевойскового союза в Париже.

Однако, как ни старались Даниловы перековать старых маньчжурцев в охранителей престола, они не смогли помешать части офицерской молодежи попытаться извлечь уроки из несчастной войны. Пример активной работы над пересмотром существовавших порядков подали моряки, наиболее тяжело задетые цусимской катастрофой. «Младотурки», как прозвали тогдашних молодых реформаторов по аналогии с турецкими реформаторами, имели в своих рядах нескольких волевых молодых лейтенантов, вроде Колчака, принявших за серьезное изучение не только морского, но и военного дела. По их настояниям и проектам был создан впервые морской генеральный штаб, связавшийся с нашим генеральным штабом. «Младотурки» стремились прежде всего засыпать пропасть, которую начальство создало между армией и флотом. Вопрос стоял уже не о далеких военных авантюрах, а об обороне самой столицы. Угроза России со стороны Европы после проигранной войны становилась реальностью, и сам Николай Николаевич открыл залы своего таинственного дворца на Михайловской площади уже не для пьяных оргий, а для военной игры крупных военно-морских соединений. Куда девалась былая неприступность Лукавого: пройдя через должность диктатора в те тревожные октябрьские дни, Николай Николаевич любезно пожимал руку даже молодым генштабистам, приглашавшимся на эту игру.

Как частенько у нас случалось – чем лучше было начинание, чем горячее за него брались, тем скорее остывал первый пыл, и дело не получало развития.

Вопросы большой важности дебатировались во вновь созданном обществе ревнителей военных знаний, в военных журналах, но безнадежно тонули в глубине штабных канцелярий.

В Петербурге продолжали задавать тон все же гвардейцы. Даже самые способные из семьи Романовых, вечные интриганы Михайловичи, и те потешались подсчетом числа шагов в минуту на церемониальном марше гвардейских полков. Этим они развлекались на скучных парадах по случаю полковых праздников, для которых царь вызывал войсковые части к себе в Царское Село. Выезжать из своей резиденции он не смел. Он уже был в плену у скрывшейся в подполье революции.

На пасху 1907 года я, наконец, за выслугу лет был произведен в подполковники с назначением в штаб 1-го армейского корпуса, только что вернувшегося в Петербург из Маньчжурии.

Начальство решило, по-видимому, посмотреть, как станет справляться с будничной работой маньчжурец, «испорченный» к тому же парижской командировкой. Меня засадили за составление мобилизационного плана корпуса.

Я уже собрался подчиниться судьбе и обратиться в штабную крысу, но неожиданно в конце лета меня вызвал к себе начальник штаба генерал Бринкен, старый маньчжурский знакомый, и заявил, что меня требует к себе генерал Иванов, бывший командир 3-го Сибирского корпуса. Хитрый мужик был Николай Иудович: он в конце войны не раз заходил в нашу столовку в Херсу потолковать с молодежью, подышать штабным воздухом, и нелегко бывало разгадать, что таится за ласковым взором и еще более сладкими речами этого простака с величественной и уже слегка седеющей бородой.

– Почему это он именно обо мне вспомнил? – спросил я Бринкена. – И зачем я ему понадобился?

– Растерялся старик, – объяснил мне мой начальник. – Ему хотят дать в командование Киевский округ, но предварительно он должен для этого сдать экзамен на командование на больших маневрах в Красном Селе. Маньчжурская война в счет не идет. Вот он и решил просить нашего командира корпуса уступить вас ему на эти дни как старого маньчжурского соратника.

Иванов располагал тремя соединениями: двумя гвардейскими дивизиями и одной стрелковой бригадой.

– Одной дивизией поведем наступление с фронта, – предлагал я. – А другую вместе со стрелками направим в глубокий обход. Точь-в-точь как проделывал это над нами Ойяма.

– Опасно, – возражал Иванов, – а вдруг противник обрушится на фронте превосходными силами. Что мы тогда будем делать? Посредники ведь начнут подсчитывать батальоны, а государь император уж, наверно, будет наблюдать за боем не со стороны обходной колонны, а на фронте, и получится конфуз. Слушайте, дорогой, я согласен послать одну дивизию в обход, а уж стрелочков оставим при себе на всякий случай.

Спорили долго, пили чай, писали приказ, вновь переписывали – до того страх перед начальством туманил голову опытного старика с Георгиевским крестом за Ляоянский бой.

Для него японцы были куда безопаснее высокого начальства, а тем более государя императора.

Несчастливая война не смогла сломать красносельских порядков, освященных традициями, а страх перед революцией усилил в правящих кругах самое страшное наследие их предков – холопство. Правда, белые кителя уступили место цвету хаки, правда, решено было обратить внимание на физическое развитие солдата, но и это доброе начинание было немедленно подхвачено ловким подхалимом, командиром лейб-гусар Воейковым для собственной карьеры. Не имея понятия о физической культуре, он выписал из Праги профессора сокольской гимнастики и использовал его для новых, невиданных красивых зрелищ на Военном поле. Царь с царского валика мог любоваться, как тысячи гвардейских солдат повторяли без команды гимнастические упражнения чешского профессора.

– Я бы предложил построить войска по этому случаю в форме буквы «Н», докладывал «зонт» Половцев своему начальнику дивизии генералу Михневичу, бывшему академическому профессору. – Вы же, ваше превосходительство, нас учили, что при Людовике XIV французская армия всегда строилась в виде буквы «L» (Л) в его честь.

* * *

Зимняя работа в скромной квартире, отведенной под штаб 1-го армейского корпуса, оказалась совсем не такой скучной, как я представлял. Впрочем, опыт жизни мне тогда уже показал, что скучных дел на свете нет с той минуты, когда их удастся приблизить к самой жизни.

Сперва казалось, что переписка о сухарных запасах, подковных гвоздях и брезентах – мертвое дело, но у меня нашелся советник, так называемый хозяйственный адъютант, подполковник с красным воротником Иван Иванович.

Он прошел маньчжурскую войну и просидел не один штабной стул. От него я услышал, что приказы составлять, конечно, хорошо, но проверять их исполнение совершенно необходимо, и что доверять вообще никому нельзя. Когда-то в полку писарь Неверович посвящал меня в тайны припека. Теперь старший писарь совместно с Иваном Ивановичем обучали меня секретам составления простых, срочных и весьма срочных бумаг. Бумага из штаба округа представлялась священной. «Но и ей доверять-то всегда нельзя, – учил Иван Иванович, – надо проверить». Взломав пяток сургучных печатей на конверте, подбитом коленкором, я извлек самый важный документ: мобилизационное расписание дней и мест погрузки войсковых частей. Иван Иванович оказался прав: проверив названия станций по железнодорожному расписанию, я не нашел в нем места погрузки, указанного для одного из эшелонов 23-й пехотной дивизии, расквартированной в Новгородской губернии. Конфуз получился большой. Объяснив недоразумение переименованием станций (страсть к переименованиям очень опасна для мобилизаций), штаб округа указал другое место погрузки, а до него, как я донес, расстояние по воздуху превышало двести верст.

– Такого перехода в одни сутки восемьдесят пятый полк совершить не сможет... – не преминул я донести своему коллеге из штаба округа.

Карты никогда не были в моде в России.

Самым больным местом в мобилизационной готовности корпуса оказались обозы, вернувшиеся с маньчжурских передряг в самом плачевном состоянии. Решено было заново их отремонтировать, заменив новыми все части, пришедшие в негодность. Разбогатевшим на военных поставках подрядчикам открывалось широкое поле деятельности и наживы. Обоз, разумеется, к намеченному сроку не был готов, что позволило Ивану Ивановичу дать мне несколько уроков по приемке и веревок, и брезентов, и колес.

Ранним и мрачным декабрьским утром комиссия под моим председательством собралась во дворе одного из наших резервных полков, где уже были построены в образцовом порядке бесчисленные повозки, блиставшие свежей зеленой краской.

– Снимай правое заднее колесо, – командовал я солдатам, присланным в мое распоряжение, – подымай плашмя, подымай выше, выше, по счету «три» бросай оземь!

Эффект превзошел предсказания Ивана Ивановича. Ударившись о мерзлую мостовую, втулка, как пробка, вылетела из колеса, а спицы фейерверком рассыпались во все стороны. Стало ясно, что колесо было старое и его для вида только покрасили.

Мало ли встречалось в военной жизни более интересных фактов, чем случай с этим подкрашенным старым колесом, а между тем он врезался мне в память. Не потому ли, что он символически представил для меня в эту минуту всю картину русской армии, украшавшейся с каждым днем то пуговицами, то блестящими атрибутами, но не лечившей те болезни, которые выявила злосчастная война. Все вокруг рассыпалось, как спицы из колеса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.